

Петер Гардош
Предрассветная
лихорадка [roman]

CoRpus

“ Любовь помогла одолеть все препятствия и недуги. Читаешь и думаешь: не бывает такого. Но все так и было. Гардош рассказал правдивую историю своих родителей, замаскировав ее под волшебную сказку.

МАРТОН ГЕРА

Петер Гардош

Предрассветная лихорадка

«Corpus (ACT)»

2015

УДК 821.511.141-31
ББК 84(4Вен)-44

Гардош П.

Предрассветная лихорадка / П. Гардош — «Corpus (АСТ)»,
2015

Эта книга – подлинная история любви родителей автора, чудом уцелевших в нацистском концлагере. Петер Гардош использовал в романе их письма, пролежавшие в тайнике более полувека. Молодой поэт Миклош Гардош и восемнадцатилетняя Лили Райх познакомились в 1945 году в Швеции. В числе бывших узников всех национальностей Красный Крест переправлял сюда из концлагеря Берген-Бельзен венгерских евреев для лечения в шведских медицинских центрах. Почти все они находились на последней стадии истощения, а у Миклоша диагностировали еще и туберкулез. Однако, не желая верить мрачным прогнозам врачей, Миклош решил, не откладывая, жениться. В поисках невесты он разослал больше сотни писем своим соотечественницам, размещенным в шведских больницах в разных концах страны... Венгерский писатель и режиссер, лауреат двух десятков престижных наград, Петер Гардош экранизировал свой роман и в 2016 году получил премию «За лучший игровой фильм» на Международном кинофестивале «Синеквест» в Сан-Хосе.

УДК 821.511.141-31
ББК 84(4Вен)-44

© Гардош П., 2015
© Corpus (АСТ), 2015

Содержание

Глава первая	7
Глава вторая	11
Глава третья	18
Глава четвертая	28
Глава пятая	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Петер Гардош

Предрассветная лихорадка

© Peter Gardos, 2015

© В. Середа, перевод на русский язык, 2016

© ООО “Издательство АСТ”, 2016

Издательство CORPUS ®

* * *

*Братишка, вот уже который год
Лицо Европы безобразят шрамы,
Но смотришь ты без слез на самолет,
Серебряный от лунной амальгамы¹.*

Миклош Гардош

Шведскому мальчишке

¹ Перевод Марины Бородинской.

Глава первая

Пасмурным летним днем корабль, на котором везли отца, приближался к Швеции.

Не прошло еще трех недель, как завершилась война.

Под шквальным северным ветром судно, вскидываясь на двухметровых балтийских волнах, следовало на Стокгольм. Мой отец был на нижней палубе. Валявшиеся на соломенных тюфяках доходяги судорожно цеплялись за койки, чтобы не свалиться от безумной качки.

Уже через час после выхода в море отцу стало плохо. Сперва он закашлял кровавой пеной и повернулся на бок, а потом захрипел так безумно, что его агония почти заглушала удары волн о корпус. Поскольку отец сразу был отнесен к числу самых тяжелых, то лежал он в первом ряду, недалеко от входа. Двое матросов, подхватив его невесомое тело, перенесли отца в кубрик.

Судовой врач долго не раздумывал. На возню с обезболиванием времени не было. Он вонзил между ребер в грудную клетку огромный шприц. Игла, по счастью, попала в нужное место. И врач успел откачать из плевральной полости пол-литра жидкости, когда наконец принесли аспиратор. Тогда шприц заменили катетером и с помощью помпы удалили из грудной клетки еще полтора литра слизи.

Отцу несколько полегчало.

Капитан, которого известили об успешном спасении умирающего, проявил к больному особое расположение. Укутав отца в толстые одеяла, его вынесли на палубу. Над свинцово-серым морем клубились набухшие дождем тучи. Капитан в безупречном кителе оставался рядом с шезлонгом, в котором лежал мой отец.

— Господин говорит по-немецки?

Мой отец кивнул.

— Вы родились в рубашке! Как ваше самочувствие?

В лучшие времена между ними мог бы завязаться какой-нибудь вежливый диалог. Но отец был не в состоянии вести джентльменские разговоры и сумел только обозначить готовность к общению:

— Жив пока.

Капитан присмотрелся к нему. Обтянутый пепельной кожей череп, увеличенные линзами очков зрачки, зияющая темная полость рта. К этому времени зубов у отца почти не осталось. Я не знаю, как именно это было. Возможно, и так: в тюремном подвале, при свете свисающей с потолка голой лампочки, тщедушного молодого человека избивали трое здоровых молодчиков. Возможно, один из полуобнаженных извергов схватил что-то очень тяжелое, металлическое, и несколько раз обрушил предмет на впалую грудь и лицо заключенного — моего отца. По бытовавшей в семье лаконичной версии, большую часть зубов ему выбили в сорок четвертом в будапештском следственном изоляторе на Маргит-кёрут.

Да, он был еще жив, все еще, пусть со свистом, дышал, усердно втягивая в легкие свежий соленый воздух.

Капитан вскинул к глазам бинокль:

— Пришвартуемся на пять минут в Мальмё.

Отца эта новость оставила равнодушным. Кроме него, на борту было еще двести двадцать четыре находящихся в самом плачевном физическом состоянии человека, которых переправляли из немецкого Любека в Стокгольм. И многие из них были ничуть не уверены, что капитан доставит их живыми в пункт назначения. Так что заход на несколько минут в порт Мальмё для этих парий ничего не значил. Но капитан, словно докладывая кому-то вышестоящему, продолжал:

– Я получил радиogramму. Это приказ. Хотя стоянка здесь маршрутом не предусмотрена.

На корабле заревел гудок. Сквозь влажное марево показались корабельные доки Мальмё. Над головой у отца кружила компания чаек.

Корабль причалил к самому концу пирса. Двое матросов, спустившись, бегом бросились по волнорезу к берегу. Они тащили пустую корзину наподобие тех, в которых, по детским воспоминаниям отца, угрюмые прачки носили развешивать на чердак стираное белье.

У самого берега пирс был перекрыт шлагбаумом, за которым, опираясь на велосипеды, стояли женщины. Было их около полусотни. Молчаливая непо-движная группа. Многие из сжимавших велосипедные рули женщин – в черных платках. Как вороны на ветке.

Двое матросов были уже у шлагбаума. И тут мой отец заметил, что велосипеды увешаны свертками и кошелками. Капитан обнял его за плечи:

– Какой-то безумный раввин поместил в утренних газетах объявление. Написал о вашем прибытии на этом судне. И даже сумел добиться незапланированной стоянки.

Женщины побросали свои пакеты в бельевую корзину. Одна, что стояла дальше других, выпустила из рук руль, и велосипед с грохотом повалился. Мой отец услышал с палубы металлический звон, с которым он упал на базальтовые плиты причала. Расслышать его на таком расстоянии отец, конечно, не мог, но все же позднее, рассказывая об этой сцене, он обязательно вспоминал этот звон.

Потом, когда все уже было собрано, матросы, так же бегом, проделали путь обратно. Картина эта навсегда врезалась отцу в память: неправдоподобно безлюдный пирс, волокущие бельевую корзину матросы, а дальше, на заднем плане, тот странный и неподвижный женский велосипедный отряд.

В пакетах было печенье, которое безымянные шведские женщины испекли в честь прибытия в их страну этих парий. Мой отец разминал языком рассыпчатое печенье, ощущая во рту ванильно-малиновый вкус.

– Швеция вас приветствует, – проворчал капитан, отправляясь на мостик, и немного спустя корабль отошел от причала.

Мой отец еще долго жевал печенье. Из-за туч вынырнул биплан и, приблизившись к судну, дважды описал над ним круг почета. И тогда мой отец постепенно понял, что действительно жив.

* * *

А седьмого июля 1945 года он уже лежал в шестна-дцатиместной больничной палате в Лербру, деревушке на острове Готланд, и, подложив под спину подушку, писал письмо. В окна палаты золотыми снопами падал солнечный свет. Между кроватями, подметая холщовыми юбками пол, бесшумно передвигались медсестры в крахмальных блузках и белых косынках.

Почерк у моего отца был необыкновенный – аккуратные букочки, элегантные закорючки и тонкие нитяные пробелы между словами. Закончив, он вложил лист бумаги в конверт и, запечатав, прислонил письмо к графину с водой на тумбочке. А через два часа его забрала медсестра Катрин и вместе с письмами других пациентов отнесла на почту.

Подниматься с больничной койки мой отец в это время мог еще очень редко. Однако через одиннадцать дней после описанного события, под вечер, он сидел уже в коридоре больницы. Раздобыв где-то тоненькую тетрадку в клеточку, отец переписывал в нее имена. Дело в том, что утром он получил письмо из Управления регистрации перемещенных лиц шведского Красного Креста. И в письме было сто семнадцать женских имен с адресами. В руках

моего отца было сто семнадцать почтовых адресов молодых женщин и девушек, которых по всей Швеции пытались вернуть к жизни в больничных бараках.

Произошло это через несколько дней после потрясшего его драматического известия.

* * *

Прижавшись к рентгеновскому аппарату, мой отец затаил дыхание. Линдхольм переговаривался с ним из соседнего помещения. Главный врач был огромного, под два метра, роста и очень забавно говорил по-венгерски. Все долгие гласные он выговаривал на один манер, произнося их так, будто надувал при этом воздушный шарик. Больницей в Лербру Линдхольм заведовал уже двенадцать лет, ну а венгерский язык он столь виртуозно ломал благодаря жене. Марта, женщина, в отличие от него, поразительно маленькая – отцу показалось, что росту в ней было от силы метр сорок, – работала в той же больнице в Лербру медсестрой.

– Не дышать! Не дергаться!

Щелчок, гул – снимок был готов.

Мой отец опустил плечи.

Линдхольм стоял уже рядом с ним. Но смотрел он не на него, а куда-то поверх головы отца. Тот бессильно стоял у рентгеновского аппарата, обнаженный до пояса, с впалой грудью, с таким видом, будто не собирается одеваться. Толстые стекла его очков слегка запотели.

– Чем вы раньше занимались, Миклош?

– Был журналистом. Стихи писал.

– О! Инженер человеческих душ. Прекрасно.

Мой отец переступил с ноги на ногу.

Ему было холодно.

– Ну, одевайтесь, чего стоите!

Отец прошел в угол и надел пижаму.

– Что, плохи дела?

Линдхольм, все так же не глядя на него, направился в свой кабинет, велел отцу следовать за ним, и на ходу, словно бы между прочим буркнул:

– Плохи.

Окна его кабинета смотрели в сад. Как обычно в середине лета, остров Готланд под вечер был залит мерцающим бронзовым светом, который под непонятным углом падал на всю округу. От темно-коричневой мебели веяло домашним покоем.

Отец, запахнув пижаму, сел в кресло. По другую сторону стола, уже без халата, в жилете, расположился Линдхольм. Он озабоченно перебирал листочки с какими-то выписками. Потом, хотя было еще не темно, включил лампу с зеленым абажуром.

– Сколько вы сейчас весите, Миклош?

– Сорок семь кило.

– Вижу, вижу. Все идет как по маслу.

Последнее замечание доктора относилось к тому, что в результате усиленной терапии за несколько недель вес моего отца с двадцати девяти килограммов удалось довести аж до сорока семи. Мой отец нервно теребил пуговицы пижамной куртки. Пижамы была велика и болталась на нем как на вешалке.

– Какая была рано утром температура?

– Тридцать восемь и две.

Линдхольм бросил листочки на стол:

– Не буду валять дурака! Ведь так у вас говорят? Вы уже достаточно окрепли, чтобы взглянуть в лицо фактам.

Мой отец улыбнулся. Почти все его зубы изготовлены были из “виплы”. Так назывался используемый в то время стоматологический сплав – нержавеющей, ужасный на вид и дешевый. Когда отец прибыл в Лербру, уже на следующий день его навесил стоматолог и, сделав слепки, отослал их техникам. Отца он предупредил, что протез будет временным и не слишком красивым, но зато практичным. И вскоре – раз, два и готово! – во рту у него уже был целый склад железа. Улыбку его можно было назвать как угодно, только не привлекательной, но главный врач все же заставил себя посмотреть на его лицо.

– Скажу прямо. Потому что так легче. Вам осталось полгода, Миклош.

Линдхольм взял со стола снимок и поднял его к свету.

– Вот, смотрите. Наклонитесь поближе.

Мой отец с готовностью вскочил и сгорбился над столом.

Тонкие пальцы Линдхольма забегали по долинам и взгорьям рентгеновского пейзажа.

– Вот, вот, вот и вот. Вы видите, Миклош? Все эти уплощения – следы сыпного тифа. А эти пятна видите? Это туберкулез. Необратимые изменения. К сожалению, с ними уже ничего не поделаешь. Говорить об этом ужасно. Если попросту, то болезнь уже... долопывает остатки легких. “Долопывать” – есть такое венгерское слово?

Они молча разглядывали рентгеновский снимок.

Мой отец уперся руками в стол – он был еще слишком слаб. И кивнул в знак того, что господин главный врач в самом деле безукоризненно разбирается в премудростях венгерского языка. Это “долопывает” весьма выразительно, лучше любых медицинских терминов обрисовало отцу не столь отдаленное будущее.

Мой дед по отцовской линии до войны занимался в Дебрецене книжной торговлей. Магазин приютился под аркадой епископского дворца, в центре города, в нескольких минутах ходьбы от главной площади. Место, где был магазин, называлось проездом Гамбринуса, и дедово заведение поэтому было известно как книжная лавка “Гамбринус”. В ней было три узких высоких зала. Отец моего отца продавал также канцелярские принадлежности и даже выдавал книги на дом. Еще подростком отец, стоя на вершине деревянной стремянки, перечитал всю мировую литературу, так что, я полагаю, он был в состоянии оценить поэтический образ Линдхольма.

Главный врач пристально посмотрел на отца.

– Современное состояние медицины говорит о том, что вы безнадежны. Иногда вы будете чувствовать себя лучше. Иногда – хуже. Я буду всегда рядом с вами. Но я не хочу вас обманывать. Шесть месяцев. От силы семь. Сердце мое разрывается. Но такова правда.

Мой отец распрямился. Все еще улыбаясь, он весело плюхнулся в глубокое кресло. Врач несколько растерялся, не уверенный, что его пациент понял диагноз, что он уяснил себе весь трагизм ситуации.

Но отца в это время занимали вопросы куда более важные, чем его жизнь.

Глава вторая

Когда через две недели после этого разговора отцу разрешили непродолжительные прогулки по больничному саду, он, присев на скамейке под сенью могучего дерева с разлапистой кроной, тут же взялся за дело.

Не отрываясь, одно за другим он писал письма. Писал их карандашом, своим бесподобным бисерным почерком. Он сидел, прижимая бумагу к твердому переплету изданного по-шведски романа Мартина Андерсена-Нексё. Политическими воззрениями Нексё он восхищался и обожал героев его романов – суровых мужественных пролетариев. Возможно, он также помнил, что великий датчанин тоже страдал чахоткой, но сумел излечиться.

Отец писал быстро. Готовые письма он складывал под камень, чтобы их не унесло ветром.

А на следующий день он постучал в кабинет главного врача. Он думал, что сможет обезоружить Линдхольма своей подкупающей искренностью. Ему нужна была его помощь.

После полудня главный врач обычно беседовал с пациентами, устроившись на диване. В одном углу кожаного дивана, в белом халате, сидел Линдхольм, в другом, в больничной пижаме, – отец.

Линдхольм изумленно держал в руках кипу писем.

– Мы обычно не спрашиваем у больных, с кем они переписываются и о чем. Поймите, это не любопытство...

– Я знаю. Но я хотел бы вас посвятить, господин главный врач.

– Вы говорите, любезный Миклош, что здесь сто семнадцать писем. Обширная переписка, поздравляю вас. – Линдхольм покачал на руке всю стопку, как бы прикидывая ее вес. – Хорошо, я попрошу сестру купить марки. С любыми вопросами материального свойства вы запросто можете обращаться ко мне.

Мой отец поддернул пижаму и закинул ногу на ногу.

– И все – женщины, – самодовольно ухмыльнулся он.

– Неужели? – вскинул брови Линдхольм.

– Точнее, девушки. Венгерки. Из Дебрецена и окрестностей. Я и сам там родился.

– Понятно, – кивнул главный врач.

Он конечно же ничего не понял, да и не мог понять, зачем моему отцу эта уйма писем. Но все же изобразил на лице понимание – ведь разговаривал он со смертником.

А отец как ни в чем не бывало продолжил:

– Две недели назад я навел справки: сколько по всей Швеции женщин, которые родились в окрестностях Дебрецена и теперь находятся здесь на лечении. Моложе тридцати лет!

– В больничных бараках?! О-о!

Они оба знали, что, кроме Лербру, в Швеции есть еще не один десяток подобных реабилитационных центров. Мой отец самодовольно выпятил грудь, распираемый гордостью за свой гениальный план.

– Там ведь женщин хоть пруд пруди. Женщин, девушек. Вот, извольте взглянуть! – Он выудил из кармана пижамы длиннющий список. И, покраснев от смущения, протянул врачу основательно препарированный реестр, где отдельные имена были помечены крестиками, галочками, треугольничками.

– Ого. Вы ищете среди них знакомых? Это можно приветствовать!

– Вы неправильно поняли, – хитро прищурился мой отец. – Я ищу невесту. Хочу жениться.

Он наконец-то сказал это! И откинулся на диване, ожидая эффекта.

Линдхольм недовольно нахмурился:

– Похоже, любезный Миклош, в прошлый раз я объяснялся недостаточно ясно.

– Что вы, доктор, напротив.

– Похоже, подвел меня ваш язык! Шесть месяцев, приблизительно. Это все, на что можно рассчитывать. Это ужасно, Миклош, когда врач говорит пациенту такое, но вы должны понять...

– Доктор, я вас прекрасно понял.

Что тут можно было еще сказать? Оба молча замерли на диване.

И сидели так в нарастающем замешательстве минут пять. Линдхольм размышлял о том, вправе ли он поучать человека, приговоренного к смерти, призывая его трезво взвешивать собственные возможности. А отец мой – о том, надо ли объяснять столь ученому мужу, что такое оптимистический взгляд на мир. Так они и расстались, ничего не сказав друг другу.

* * *

Во второй половине дня мой отец, как обычно, лег в постель и подложил под спину подушку. Было четыре часа, время отдыха, когда пациентам полагалось находиться в палатах. Многие спали, некоторые играли в карты, а Гарри с нервирующим усердием выводил на скрипке невероятно сложный финальный пассаж какой-то романтической сонаты.

На сто семнадцать конвертов нужно было наклеить марки. Мой отец слюнявил и клеил их, слюнявил и клеил. А когда пересыхало во рту, то брал с прикроватной тумбочки стакан с водой и отпивал глоток. Ему казалось, что Гарри играл только для него, обеспечивая его занятие музыкальным сопровождением.

Все эти сто семнадцать писем он мог написать и под копирку, ведь единственное, чем они отличались, было обращение.

* * *

Представлял ли в своих мечтах мой отец, что почувствует женщина, когда вскрыет адресованный ей конверт? Когда вынет письмо и взгляд ее упадет на ровные ниточки его строк?

Ах, эти женщины! Сидящие на краешке больничных коек, на садовых скамейках, замершие в закутке пропахшего лекарствами больничного коридора, застывшие за толстыми стеклами окон или на выщербленных ступенях лестницы, или под тихими липами у пруда, или прижавшиеся спиной к пожелтевшей глазури остывающей изразцовой печи. Видел ли мой отец, как они, кто в исподней рубашке, кто в привычном, лагерном еще, серо-белом платье, вскрывают полученные от него письма? Как сначала смущенно, а потом уже улыбаясь, с замирающим от волнения сердцем или с крайним недоумением вновь и вновь пробегают глазами по строчкам?

Дорогая Нора, дорогая Эржебет, дорогая Лили, дорогая Жужа, дорогая Шара, дорогая Серена, дорогая Агнеш, дорогая Гиза, дорогая Каталин, дорогая Юдит, дорогая Габриэлла...

Наверное, Вы привыкли к тому, что, когда разговариваете по-венгерски, к Вам может обратиться незнакомый Вам человек – на том основании, что он тоже венгр. Что поделаешь – не то нынче воспитание.

Вот и я только что фамильярно к Вам обратился на том основании, что мы с Вами земляки. Я не знаю, встречались ли мы в Дебрецене, где я был – до того, как Родина загнала меня в трудовой батальон, – сотрудником

городской газеты, а отец мой держал книжный магазин в помещении епископского дворца.

Мне кажется – судя по возрасту и фамилии, – что мы с Вами знакомы, Вы ведь жили в проезде Гамбринуса?

Не сердитесь, что я пишу Вам карандашом – дело в том, что по настоянию докторов мне придется опять день-другой поваляться в постели...

* * *

Одной из ста семнадцати получательниц этого послания была некая Лили Райх, восемнадцатилетняя обитательница больничного городка в Смоландстенаре.

Она вскрыла письмо из далекого Лербру, которое в августе ей принес почтальон, внимательно прочитала его и, решив, что молодой человек с не-обыкновенным почерком наверняка ее с кем-то путает, тут же о нем забыла.

К тому же в те дни она пребывала в лихорадочном возбуждении. Вместе с двумя новоиспеченными подругами, Шарой Штерн и Юдит Гольд, они готовились нарушить унылое однообразие медленного излечения.

Юдит Гольд была девицей с лошадиным лицом и темным пушком над тонкими, плотно сжатыми губами. А Шара – прямая противоположность: бело-курое, хрупкое существо с узкими плечиками и стройными ножками.

Три подруги мечтали устроить в клубе больничного городка венгерской вечер.

Все трое прежде занимались музыкой: Лили Райх восемь лет играла на пианино, Шара Штерн пела в хоре, а Юдит Гольд до войны занималась танцами. Из чистого энтузиазма к ним подключились Эрика Фридман и Гитта Планер. Программу – примерно минут на тридцать – они напечатали на машинке в кабинете врача и вывесили ее в трех местах. Скрипучие деревянные стулья клуба заполнили любопытствующие – в основном пациенты реабилитационного центра, но были и местные, из Смоландстенара, которым тоже хотелось послушать концерт.

Успех был ошеломительный. После последнего номера – зажигательного чардаша – публика аплодировала стоя, без конца вызывая краснеющих от смущения девушек. Но когда они убежали за сцену, Лили вдруг почувствовала резкую боль в животе. Она скорчилась, обхватив живот, и неожиданно для себя застонала. Потом она повалилась на пол. Со лба градом струился пот.

Шара, самая близкая из подруг, бросилась к ней.

– Лили, что с тобой?!

На какое-то время девушка потеряла сознание. Она не запомнила, как ее увозили на скорой, в памяти сохранилось только размытое лицо Шары, которая что-то кричит ей, а она ничего не слышит.

Позднее она часто задумывалась над тем, что, наверное, никогда бы не встретила своего отца, не случись этот приступ почечной колики. Ведь это из-за него дюжий белый автомобиль санитарной службы доставил ее в военный госпиталь в Экшё, куда Юдит Гольд при первом же посещении принесла ей, кроме зубной щетки и дневника, то письмо, что послал ей молодой человек из Лербру. И она же, ее подруга Юдит, уговорила ее, несмотря на все доводы разума, написать этому симпатичному парню несколько фраз – хотя бы из сострадания.

Так и произошло. В один из нескончаемо долгих больничных вечеров, когда наконец затихла скрипучая дверь допотопного лифта и умолк коридорный гомон, Лили Райх взяла лист бумаги и при свете мерцавшей над койкой лампы стала писать письмо.

Уважаемый Миклош!

Наверное, я не та, за кого Вы меня принимаете, ведь, хотя родилась я в Дебрецене, с годовалого возраста постоянно жила в Будапеште. И все-таки я о Вас много думала, так как искреннее и душевное Ваше письмо мне понравилось, вот я и решила ответить Вам...

Это было верно только наполовину. Теперь, когда ее приковал к постели неизвестный новый недуг, она – от страха, от неизвестности, а может быть, чтобы отвлечься, – стала предаваться фантазиям.

О себе скажу только, что я не люблю отглаженные брюки со стрелками и прилизанные прически, зато высоко ценю внутренние достоинства.

* * *

Мой отец немного окреп. Во всяком случае, достаточно для того, чтобы они вместе с Гарри отважились выбраться в городок. Обитатели реабилитационных центров в Швеции получали карманные деньги – по пять крон в неделю. В Лербру было две кондитерские, в одной из которых стояли такие же мраморные столики, как в довоенной Венгрии. С Кристин, пухленькой парикмахершей, им удалось познакомиться прямо на улице, так что за круглый мраморный столик они уселись втроем. Юная шведка церемонно, вилочкой, ела шарлотку, а ее кавалеры заказали себе минералки. Разговаривали по-немецки, потому что с напевным шведским наречием наши венгры еще только знакомились.

Золотистый пушок под носом Кристин был обсыпан сахарной пудрой.

– Вы отличные парни. Где вы родились?

Мой отец с гордостью выпятил грудь.

– Хайдунанаш, – изрек он, как будто волшебное слово.

– А я из Шайосентпетери, – сказал Гарри.

Кристин попыталась совершить невозможное. И повторила услышанное. Но получилось нечто булькающее и бессмысленное: Гайдю... нана. Шаю... синт... питер...

Они рассмеялись. Кристин вернулась к яблочному пирогу. Наступила пауза, короткая, но достаточная для того, чтобы составить план гусарской атаки. В подобных делах Гарри был мастак.

– Что сказал Адам Еве во время их первой встречи? – задал он вопрос.

Кристин, забыв про пирог, нахмурила лоб, пытаясь разгадать загадку. Гарри, немного повременив, поднялся. И пояснил жестом, что он теперь голый.

– Сударыня, отойдите подальше, а то мне не видно, где эта штука кончается! – И показал рукой на ширинку.

Кристин сначала не поняла, но потом покраснела. Мой отец смущенно схватил стакан и глотнул минералки.

А Гарри было не удержать.

– Есть другой анекдот. Госпожа спрашивает у новой горничной: “У вас все в порядке с рекомендациями?” Горничная кивает: “Да, ваша милость, все были мной довольны” – “Вы готовить умеете?” Горничная кивает. “Детей любите?” Горничная кивает: “Люблю. Но барину все же лучше не забывать о предосторожности”.

Кристин прыснула со смеху. А Гарри поймал ее руку и жарко поцеловал. Кристин хотела освободить руку, но тот держал ее крепко, и она предпочла не сопротивляться. Мой отец отвернулся. И опять глотнул минералки.

Кристин оправила юбку и поднялась.

– Мне нужно выйти. – И чинно двинулась между столиками.

Гарри тотчас перешел на венгерский:

– Она тут рядом живет. На третьей улице.

– Откуда ты знаешь?

– Сама сказала. Не слышал?

– А ты ей понравился.

– Ты тоже.

Мой отец пристально посмотрел на Гарри:

– Меня это не волнует.

– Ты сто лет не сидел в кафе. Сто лет не видел женского тела.

– Ты это к чему?

– Лагерь кончился, мы свободны. Пора возвращаться к жизни!

Кристин, покачивая бедрами, уже направлялась обратно. Гарри еще успел шепнуть отцу по-венгерски:

– Может, сэндвич организуем?

– Какой еще сэндвич?

– Мы с тобой и она. Кристин посередине.

– Да пошел ты.

Гарри, не переводя дыхания, перешел на немецкий и незаметно погладил девушку под столом по ноге.

– Дорогая Кристин, мы тут с Миклошем говорили о том, что я по уши в вас влюбился. Могу я на что-то надеяться?

Девушка предостерегающе подняла указательный палец и запечатала им губы Гарри.

* * *

На четвертом этаже в доме по улице Нюсвеген Кристин снимала маленькую квартирку. Через открытое окно иногда доносился приглушенный шум редких автомобилей. Чтобы облегчить Гарри работу, она села на кровать. И в качестве первого испытания велела ему зашить надорвавшийся сзади бюстгальтер. Разумеется, не снимая его. За процессом девушка наблюдала в зеркало, что висело перед кроватью.

– Ну, готово?

– Почти. А не проще было бы снять?

– Еще не хватало!

– Ты меня мучаешь.

– В том и суть. Чтобы ты пострадал. Потерпел, помог девушке по хозяйству, – засмеялась Кристин.

Наконец он закончил починку и перекусил нитку.

Кристин вскочила с кровати и повертелась у зеркала, пощелкивая по телу бретельками бюстгальтера. Гарри, все больше краснея, восхищенно смотрел на нее. Потом обнял девушку и стал неловко освобождать ее от бюстгальтера.

– Я буду готовить, стирать, мыть полы, – хрипло шептал он. – Буду работать как вол.

И в ответ получил от нее поцелуй.

* * *

Когда через час Гарри вернулся, то застал моего отца в том же углу кондитерской. Гарри плюхнулся рядом с ним, но он даже не взглянул на друга. На мраморном столике лежало письмо, которое он как раз заканчивал. Кончик карандаша так и летал над белым листом бумаги. Гарри тяжело вздохнул. Он был в полном отчаянии.

Наконец мой отец поднял голову. И кажется, даже не удивился кислой физиономии Гарри.

– Что, любовник, повесил нос?

Гарри осушил стакан отца с остатками минералки.

– Дохлак я, а не любовник!

– Вы поссорились?

– Сначала она заставила меня починять ей бюстгальтер. А потом я ее раздел. Ты бы видел это цветущее тело!

– Ну и отлично. Не мешай, я должен закончить, – снова уткнулся в письмо отец.

Гарри с завистью наблюдал, как легко его друг отключался от внешнего мира. Как будто его, Гарри, здесь и не было.

Чуть обождав, он пробормотал:

– Зато у меня все завяло... Я не смог, ничего не вышло!

Отец будто одержимый продолжал писать.

– Чего у тебя не вышло?

– У меня, который мог по пять раз на дню! Мог ведро с водой нацепить и гулять с ним по комнате...

Мой отец задумался над каким-то эпитетом. Но потом все же вежливо поинтересовался:

– Куда нацепить?

– А теперь болтается между ног, как сморчок. Бледный, жалкий, никуда не годный.

Мой отец наконец-то нашел подходящее слово. Ясно было, что он про себя улыбается. Он записал слово и успокоился. Теперь можно было успокоить и Гарри.

– Так это нормально. Без чувств ничего не получится.

Гарри яростно закусил губу. А потом неожиданно развернул письмо и стал читать вслух:

– “Дорогая Лили! Мне сейчас двадцать пять...”

Мой отец тут же прихлопнул письмо ладонью, Гарри хотел его вырвать. Какое-то время они боролись, но отец оказался ловчее и спрятал письмо в карман брюк.

Дорогая Лили! Мне сейчас двадцать пять, я был журналистом, пока из-за первого закона о евреях меня не вышвырнули из газеты.

Художественным приемом преувеличения отец владел в совершенстве.

Если строго держаться фактов, то журналистом он проработал восемь с половиной дней. В дебреценскую “Фюггетлен Напло” его приняли в понедельник, да и то скорее курьером, быстроногим поставщиком новостей для криминальной хроники, – приняли в самый неблагоприятный момент в истории. Спустя неделю в Венгрии вышел закон, ограничивавший права евреев в некоторых сферах деятельности, что положило конец журналистской карьере отца. Но восемь с половиной дней этой газетной практики навсегда закрепились в его автобиографии.

Пережить этот драматический поворот девятнадцатилетнему молодому человеку конечно же было непросто. Сегодня ты красуешься с карандашом за ухом, а завтра уже раз-

возишь по домам содовую и, высунувшись из повозки, горланишь: “Газировщик! Меняю сифоны!” Лошаденки трусили рысцой по дороге, и в ушах моего отца отвратительно свистел ветер.

...потом я был экспедитором по доставке содовой, рабочим текстильной фабрики, пинкертоном в кредитно-информационном бюро, мелким служащим, рекламным агентом и перепробовал много других столь же замечательных профессий, пока в 1941 году меня не призвали в трудовой батальон. При первом удобном случае я бежал к русским. В течение месяца, в Черновицах, я мыл посуду в большом ресторане, а потом там же, на Буковине, вступил в интернациональный партизанский отряд...

Дезертиров-венгров, в общей сложности восьмерых, на ускоренных красноармейских курсах обучили диверсионному ремеслу и забросили в тыл противника. Русские, что с сегодняшней точки зрения совершенно понятно, не доверяли им. В Советском Союзе, как мы знаем теперь из истории, доверия не было ни к кому. А тут эти перебежчики-венгры – почему бы от них не избавиться?

Представляю себе картину: мой отец, с вещмешком, в фуфайке, судорожно цепляется за распахнутую дверь самолета. Смотрит вниз. Там – бездонная глубина, облака, голые поля. У отца, страдающего агорафобией, кружится голова, он в панике отворачивается, его рвет. Сзади чьи-то крепкие руки хватают его и швыряют в бездну.

Неизвестно, как так получилось, но в тот день, на рассвете, в жидкой рошце в Северной Трансильвании, которая тогда относилась к Венгрии, их поджидало отделение автоматчиков, и когда парашютисты были уже в нескольких метрах от земли, их начали методично расстреливать.

Мой отец оказался счастливым – той фигурой в этом своеобразном тире, в которую не попали. Но когда он упал на землю, его схватили и заковали в наручники. Той же ночью его доставили в Будапешт, где менее чем за полчаса он потерял два десятка зубов.

* * *

В кондитерской городка Лербру Гарри завистливо посмотрел на отца:

– И сколько ответов ты получил?

– Восемнадцать.

– И со всеми теперь будешь переписываться?

Мой отец указал на карман, куда спрятал письмо:

– Настоящая – только она.

– Почему ты так думаешь?

– Я это знаю.

Глава третья

В госпитале Экшё Лили разместили в палате на четверых. Был конец сентября, за окном сиротливо стояла береза, уже сбросившая листву.

Главный врач, доктор Свенссон, начал рано лысеть. Он был в самом расцвете сил, но сквозь песочного цвета волосы уже просвечивала розовая, как попка младенца, кожа. Он был низенький, крепко сбитый. На маленьких, почти детских руках ногти были размером с черешневый лепесток.

Освободившись от защитного фартука, он перешел в другую часть кабинета. В голom помещении рядом с машиной рентгеновского аппарата стоял только стул, на котором – бледная, перепуганная, в застиранном полосатом халате – сидела Лили.

Свенссон присел рядом с ней на корточки и погладил ее по руке. То, что эта венгерская девушка прекрасно владела немецким, облегчало его задачу. Сейчас были очень важны нюансы.

– Я изучил ваш последний снимок. Сегодняшний будет готов только завтра. Должен сказать, что сперва мы подозревали у вас скарлатину, но теперь это исключается.

– Что-то хуже?

Лили произнесла это шепотом, как будто они сидели в зрительном зале.

– В каком-то смысле – да. Но это не инфекция. Причин для волнения нет.

– Что у меня?

– Зловредные почки шалят. Но я вас вылечу. Обещаю вам.

Лили, не в силах более сдерживаться, залилась слезами. Доктор Свенссон взял ее за руку:

– Не плачьте, девочка. Я прошу вас. Вам придется опять соблюдать постельный режим. На этот раз строгий.

– Как долго?

– Пока две недели. От силы три. А там видно будет.

Доктор достал из кармана носовой платок. Лили высморкалась и размазала по лицу слезы...

Моей фотографии у меня нет... Несколько дней назад я снова попала в больницу и сейчас лежу в Экшё.

* * *

Танцы я ненавижу, но веселье люблю, а еще – фаршированный перец (с обильным томатным соусом, разумеется).

О том, что отец с детства ненавидел танцы, в семье хранились легенды.

Говорят, что однажды, когда ему было лет восемь, ему напоядили волосы, вырядили в кургузый костюмчик и потащили в знаменитый дебреценский “Золотой бык”. Из-за каких-то проблем с рефракцией он и тогда уже был слеповат и носил уродующие лицо окуляры с толстыми линзами.

В разгар бала мальчишку втокнули в круг дам и барышень. Дамы бурно зааплодировали и стали подталкивать к танцу двух малышек, топтавшихся в центре круга. Девчонка, которую, по преданиям, звали Мелиндой, пришла в себя первой. Захваченная волной общего ликования, она потянула мальчишку за руку и пустилась кружиться. Но отец, поскользнув-

шись на свеженатертом паркете, шлепнулся на карачки и в этой позе наблюдал за Мелиндой, сорвавшей на том балу самый большой успех.

* * *

Отец с Гарри свернули на улицу Корсбювеген и поспешили в лагерь. Дул сильный ветер, отец поднял воротник легкого пальтишка.

Внезапно остановившись, Гарри схватил его за руку:

– Послушай, а может, у нее подруга есть? Ты узнай!

– Узнаю. Попозже. У нас все еще только начинается.

В этот день словно бес вселился в обитателей их барака. Они все перевернули вверх дном, сдвинули кровати, раздобыли где-то гитару. Ене Григер, как выяснилось, довольно сносно мог сыграть любой знаменитый шлягер последних лет.

Начались танцы. Поначалу они просто самозабвенно плясали, но потом в них проснулось желание пофиглярствовать. И они, не сговариваясь о ролях, весело и задорно стали изображать кто бравого гусара, кто легкомысленную девицу. Щелкали пятками, делали реверансы, что-то нашептывали друг другу и жеманничали. Они яростно, исступленно кружились, как будто инстинкты, подавляемые месяцами, вдруг взорвались как вулкан.

Мой отец в таких инфантильных забавах участвовать не любил. Он сидел в гордом одиночестве на задвинутой в угол кровати и, держа на коленях любимого Нексё, писал письмо.

Но Вы так и не написали мне о своей внешности! Вы, конечно, сразу подумаете, что я какой-нибудь вертопрах, который только об этом и думает. Скажу по секрету: не только.

* * *

В дверь постучали, но Лили даже не подняла головы. Она читала “Пятнадцатилетнего капитана” – замызганный экземпляр немецкого перевода Жюль Верна, который ей накануне принес доктор Свенссон.

На пороге, с узелком в руках, стояла Шара Штерн. Лили глазам своим не поверила. Шара бросилась к ней, опустилась на колени, и они обнялись. “Пятнадцатилетний капитан” упал на пол.

– Меня Свенссон определил сюда! Чтобы быть с тобой рядом! Хотя я нисколько не больна!

Она, словно балерина, крутанулась вокруг оси. Мигом скинула с себя платье, натянула ночную рубашку и юкнула в постель к Лили.

А Лили, без ума от счастья, еще долго, долго смеялась.

Что ж, пока у меня нет фотографии, попытаюсь себя описать словами. По комплекции, как я себя вижу, я полненькая (спасибо шведам), среднего роста. Волосы темно-каштановые, глаза серо-голубые, губы тонкие. Румяная, смуглолицая. Можете представлять меня хоть красавицей, хоть уродиной, самой мне об этом сказать нечего. Я Вас тоже себе представляю, и очень мне интересно, насколько это мое представление совпадает с реальностью.

В воскресенье по инициативе Линдхольма пациентов больницы на трех автобусах повезли к морю, расположенному в двадцати километрах от городка.

Оторвавшись от остальных, мой отец и Гарри тут же облюбовали себе укромную песчаную бухточку, где можно было уединиться. День выдался изумительный, настоящий подарок. Над водой бескрайним кобальтовым шатром раскинулось небо. Парни разулись и, как пьяные, бродили у кромки моря, лизавшего их ступни.

Потом Гарри исчез за скалой. Мой отец сделал вид, будто он ничего не заметил. В последнее время у Гарри появилась привычка уединяться в укромных местах и испытывать там свою мужскую силу. Солнце, клонясь к закату, отбрасывало длинные тени. И отражение Гарри, мучительно добивавшегося удовлетворения в своем укрытии, проецировалось на песок, как какой-нибудь эротически откровенный рисунок Шиле. Мой отец попытался сосредоточиться на волнах и сверкающем в бесконечной дали горизонте.

А еще хотелось бы Вас спросить, что Вы думаете о социализме. Судя по Вашим семейным обстоятельствам, вы из среднего класса, к которому относился и я до своей встречи с марксизмом. А средний класс имеет на этот счет достаточно странные представления...

Осень настала в Экшё необычно рано. Она налетела внезапно, ночью, со свинцовым дождем и пронизывающим холодным ветром. Две девушки в больничной палате с испугом смотрели, как за окном сотрясалась и гнулась одинокая береза.

Их кровати стояли настолько близко одна к другой, что они могли взяться за руки, высунав их из-под одеяла. Девушки перешептывались:

– Эх, мне бы сейчас двенадцать крон!

– И что бы ты с ними сделала?

Лили закрыла глаза.

– У нас на углу улицы Нефелейч был зеленщик... Меня мамочка посылала к нему за фруктами...

– В лавку Медве! Так звали зеленщика!

– Этого я не помню.

– Ну как же! А я называла его просто “медведем”! Почему ты об этом вспомнила?

– Просто так. В прошлом месяце, в Смоландсстенаре, когда я еще на ногах была, я увидела в витрине зеленый перец.

– Ух ты! А я думала, его здесь не бывает.

– Я тоже так думала. Он стоил двенадцать крон. За килограмм, наверное. Или за полкило?

– И тебе захотелось.

– Это глупо, я знаю. Но вчера мне этот зеленый перец снился. Я кусала его. Он хрустел. Приснится же такой бред!

Дождь лил не переставая, барабанил в окно, и девушки зачарованно слушали его шум.

Шара, моя подруга, часто рассказывает мне про социализм. Я, признаться, идеологией никогда не интересовалась. Но сейчас начала читать книгу, которую мне дала Шара, “Москва, 1937” – так она называется. Но Вы-то, конечно, давно ее прочитали...

* * *

Как-то ночью мой отец стал опять задыхаться. Он даже не успел крикнуть. Остановился посередине барака, напрягся всем телом и, разинув рот, попытался хватить кислорода из воздуха. Но тут же упал. На сей раз из его грудной клетки откачали два литра жидкости.

Оставшуюся часть ночи он провел в боксе, куда его поместили. Гарри улегся на пол рядом с кроватью, чтобы подняться по тревоге Линдхольма, если снова начнется приступ. Хотя главный врач уверял его, что в ближайшее время кризис не повторится, он все же остался.

– Что со мной было? – еле слышно пробормотал отец.

– Ты упал без сознания, у тебя откачали жидкость. И теперь ты в боксе, рядом с операционной.

У Гарри от жесткого деревянного пола заныли бока. Он сел и скрестил ноги по-турецки. Отец долго молчал, а потом прерывающимся голосом воскликнул:

– Слушай, Гарри! Я жабры себе отращу! Нет, они меня не возьмут.

– Кто – они?

– Кто угодно. Я покажу, на что я способен!

– Эх, завидую я тебе! Что ты такой сильный...

– Не унывай, с тобой тоже все образуется. И сморчок твой станет такой оглоблей, что только держись!

Гарри сидел, покачиваясь взад-вперед. Размышлял над словами отца.

– Ты так думаешь?

– Все девки будут твои, – заверил его отец и попробовал улыбнуться.

Между тем из головы у него не выходили слова, которые он написал Лили:

А теперь один странный вопрос: а как у Вас обстоят дела на любовном фронте? Ох, боюсь, достанется мне от Вас за такие вольности!..

* * *

В один из последующих дней под унылым морозящим дождем Шара выскользнула из госпиталя и направилась в старый центр. Эхшэ и после войны оставался волшебным городом, особенно в его исторической части.

Одна из сестер подсказала ей, где расположена самая лучшая овощная лавка. И надо же было случиться, что на витрине зеленщика стояла всего лишь одна корзинка, а в ней – пара крепких мясистых ярко-зеленых перцев.

Девушка запыхалась, так что пришлось ей перевести дыхание, чтобы успокоилось сердце, после чего, нащупывая в кармане мелочь, она вошла внутрь.

На “странный” вопрос мне ответить нетрудно: да, поклонники у меня были. Понимаю, что сейчас Вас интересует только одно – много или ЕДИНСТВЕННЫЙ?! Попробуйте угадать!..

* * *

В больничном бараке Гарри слыл отчаянным ловеласом. Он разыгрывал из себя самоуверенного героя-любовника, с загадочной улыбкой давая понять, что на его счету десятки девичьих и женских разбитых сердец. О мелких его проблемах, кроме отца, разумеется, никто не догадывался.

Как-то парни нашли его заветную склянку с одеколоном. Где он его добыл, было непонятно. Иногда, когда он готовился к вылазке в город, весь барак наполнялся удушливым ароматом лаванды. Кто-то выследил, что флакон – толстостенный, но очень изящной формы – Гарри прячет между матрасом и панцирной сеткой койки.

Рано вечером, собираясь в очередную разведку, он обнаружил, что тайник под матрасом пуст. И тут флакон с одеколоном стал летать над койками. Гарри бегал туда-сюда, пыта-

ясь его поймать. Тот, кто его держал, коварно ждал, пока Гарри к нему подбежит, и швырял над его головой, как мячик. Потом игра всем наскучила – кто-то открутил колпачок, и парни давай поливать друг друга, не жалея сокровища Гарри. Тот рыдал и вопил, умоляя отдать бесценный одеколон, купленный на позаимствованные у кого-то деньги.

Это просто кошмар, что у нас за народ подобрался! Сами видите по моему бестолковому письму. Венгры – что с них возьмешь! Так галдят, что писать невозможно! Кто-то разбрызгал одеколон нашего главного донжуана, даже на это письмо перепало. В общем, люди мы очень веселые, настолько, что иногда даже страшно делается.

Кстати, о веселье – чем собираетесь нас развлекать, когда мы приедем?

* * *

Когда Шара вернулась с прогулки по старому городу, Лили спала. Такое бывало частенько, когда от безделья и усиленного питания больных днем клонило в сон.

Этому обстоятельству Шара была только рада. Она тихонько положила два зеленых перца на подушку, прямо Лили под нос.

...ведь о том, что Вы, милый Миклош, собираетесь навестить нас, привела всех в восторг...

* * *

В дневное время мой отец и Гарри с завидным усердием совершали прогулки по дорожкам обширного сада, что окружал больницу. Теперь, когда путешествие отца в Экшё казалось уже реальностью, Гарри стал проявлять к нему живой интерес и взял себе в голову, что должен заполучить одну из корреспонденток отца или даже уговорить друга, чтобы тот подключил его к обретаемому все более четкие очертания плану поездки.

– Так сколько, ты говоришь, километров? – деловито поинтересовался он.

– Двести семьдесят.

– Два дня туда, два обратно. Не разрешат.

Мой отец быстро шел, глядя себе под ноги.

– Разрешат.

Гарри чувствовал, как важно теперь развеять всяческие сомнения относительно его мужской силы.

– Я уже почти в идеальной форме. По утрам вот с таким просыпаюсь!

И для наглядности показал, с каким. Но отец не отреагировал.

В любом случае помните, что я буду Вашим двоюродным братом, а Гарри пускай будет дядей Вашей подруги Шары. Но должен предупредить Вас, что на станции (уже на станции) мы с Вами по-родственному расцелуемся! Чтобы соблюдать видимость!

С дружескими рукопожатиями и родственными поцелуями, Миклош.

* * *

Однажды солнечным утром (что в Экшё большая редкость) в палате распахнулась дверь и на пороге показалась смеющаяся, кругленькая как мячик, усатая Юдит Гольд. Она бросила на пол свои пожитки и распростерла объятия:

– Меня тоже Свенссон прислал! Анемия тяжелой степени! Будем вместе болеть!

Шара бросилась к Юдит, они обнялись. Лили тоже выбралась из постели, хотя это было строгойше запрещено. Взявшись за руки, подружки пустились в пляс у окна, а потом уселись на койку. Юдит Гольд обхватила ладонями руку Лили:

– Ну как, пишет еще тебе?

Лили выждала: в последнее время она училась держать драматическую паузу, понимая, какие, пусть небольшие, но все-таки ощутимые преимущества она может дать. Она медленно, театрально поднялась, подошла к тумбочке и выдвинула ящик. Достав пачку писем, перетянутую резинкой, Лили подняла ее над головой:

– Восемь!

Юдит Гольд всплеснула руками.

– Трудолюбивый парень!

Шара похлопала Юдит Гольд по коленке.

– А если б ты знала, какой он умный! И к тому же социалист!

Это было уж слишком. Юдит Гольд поморщилась:

– Фу! Социалистов я не люблю.

– А Лили любит.

Юдит Гольд взяла из рук Лили письма и понюхала их.

– Это точно, что не женатый?

Лили пришла в изумление. Ну зачем нюхать письма?

– Точней не бывает.

– Это надо проверить. Я вон сколько раз обжигалась.

Юдит Гольд была старше их по крайней мере на десять лет. И довольно непривлекательной. Тем не менее она могла иметь некоторый опыт. Лили забрала у нее письма, сдернула с них резинку и развернула то, что лежало сверху.

– Вот что он пишет:

Спешу сообщить хорошую новость: мы можем писать теперь в Венгрию! Правда, пока только по-английски и коротко. Двадцать пять слов – на бланке, который нужно запрашивать в консульстве или по адресу: Красный Крест, Стокгольм, почтовый ящик 14.

– Вот так!

Новость и правда была хорошая, и все трое погрузились в задумчивое молчание.

Лили вернулась в кровать и, положив письма на живот, уставила взгляд в потолок.

– От мамочки никаких вестей. И от папочки тоже. Даже думать об этом страшно. А вам не страшно?

Девушки молчали, избегая смотреть друг на друга.

* * *

В тусклый пасмурный день, когда осень уже добралась и до Готланда, Линдхольм в полдень созвал обитателей больничного лагеря.

И в телеграфном стиле проинформировал их о существенных изменениях в их положении. Хорошая новость заключалась в том, что среди пациентов больше нет заразных, другая же новость – в том, что венгерскую часть контингента на следующее утро отправят из Лербру в новый больничный лагерь близ городка Авеста в северной части Швеции. Это в нескольких сотнях километров от Готланда. И Линдхольм, главный врач, отправится вместе с ними.

* * *

До Авесты в неторопливо пытящем поезде они добирались долгих полтора дня. Новое пристанище, что находилось в семи километрах от города, сперва показалось им каким-то гиблым местом. Лагерь, стоявший в глубине леса, был обнесен проволочным забором, а прямо посередине торчала какая-то заводская труба.

Их разместили в кирпичных бараках. Наверное, перенести эти перемены было бы легче, если бы настроение не подавлял суровый по сравнению с Готландом климат. В Авесте постоянно дул ветер, все было покрыто инеем, а солнце цвета переспелого апельсина показывалось разве что на минуты. Перед окнами была небольшая бетонированная площадка с торчащим из трещин бурьяном. Без сомнения, было в этой площадке какое-то утопическое очарование. На ней стоял длинный деревянный стол со скамьями – как на каком-нибудь хуторе в венгерской степи. По вечерам и больные, и выздоравливающие устраивались здесь, кутаясь в теплые одеяла.

Линдхольм добился даже, чтобы им присылали из Венгрии газеты, которые приходили обычно три раза в неделю, с двадцатидневной задержкой. Измятую, отпечатанную на дрянной бумаге газету венгры тут же разрывали на четыре части и группами, висая друг на друге, пожирали газетные новости. Над их головами плясала на ветру лампочка. Периодически в ее бледном свете они менялись страницами и, беззвучно шевеля губами, мысленно уносились в родные края.

В первый рейс отправляется восстановленный винтовой пароход с паровой машиной мощностью двести пятьдесят лошадиных сил.

В отеле “Геллерт” чествуют советского художника Герасимова.

Кечкемет получит от советских оккупационных властей триста пар волос.

В Сегеде пройдут велогонки.

Мартон Келети приступает к съемкам фильма “Учительница”.

Вы представляете, мы раздобыли один из августовских номеров “Кошут Непе”! Зачитали до дыр! Вплоть до объявлений! В театрах аншлаги! Газета на четырех полосах стоит два пенге, килограмм муки – четырнадцать. Народные суды одного за другим осуждают военных преступников! Переименованы улицы!

Площадь Муссолини стала площадью Маркса! Страна полна оптимизма, все жаждут работать! Учителя средних школ проходят переподготовку. Первую лекцию им прочел Матяш Ракоши. Но я, наверное, утомил Вас всей этой политикой.

* * *

Крохотное помещение рентгеновского кабинета ма-ло чем отличалось от того, что было в Лербру. Разница была только в том, что по потолку здесь убегала неизвестно куда

длинная тонкая трещинка, которая показалась отцу символической, дающей ему основания на что-то надеяться.

В этом помещении отец снова прошел рентген. Пока делали снимки, он должен был много раз прижиматься худыми плечами и впалой грудью к холодному аппарату. Как и в Лербру, после каждого снимка раздавался тонкий свисток, а в конце процедуры, когда раздвинулись дверцы и в кабинку ворвался свет, отец точно так же вскинул руку к глазам. А напротив него, в защитном кожаном фартуке, точно так же, как и в Лербру, уже стоял Линдхольм.

Разбор новых снимков состоялся на следующий день. Мой отец, войдя в кабинет, сел на привычное место – на стул напротив письменного стола. И тут же подался назад, так что передние ножки стула оторвались от пола. Эту дурацкую привычку мой отец приобрел здесь, в Авесте. Он дал себе слово, что, когда речь пойдет о том, жить ему или умереть, он попытается уравновесить стул. Откинувшись назад, он, как какой-нибудь шаловливый ребенок, стал балансировать на задних ножках стула. Что, естественно, требовало безумной концентрации.

Линдхольм пристально посмотрел на отца:

– Удачные снимки. Четкие, хорошо поддаются анализу.

– Изменения?

– Порадовать вас не могу.

Хлоп. Стул под отцом опустился на передние ножки.

– Так что от поездки придется отказаться. К тому же мы теперь слишком далеко от Экшё. Я даже не знаю, сколько потребуются пересадок, чтобы туда добраться.

– Мне нужно всего три дня.

– У вас упорно держится предутренняя лихорадка. Нет, чудес не бывает.

– Но это важно не для меня. Моей двоюродной сестре очень плохо, у нее депрессия. Я должен спасти ей жизнь.

Линдхольм задумчиво посмотрел на отца.

К тому времени они с женой уже устроились на новом месте. Он решил пригласить отца к себе в гости: быть может, за дружеским семейным ужином удастся отговорить этого симпатичного, но упрямого молодого человека от его сумасшедшей затеи.

* * *

Квартира Линдхольмов была у железной дороги, и время от времени под окнами проносились составы. Мой отец, принарядившийся, в пиджаке с чужого плеча и при галстуке, чувствовал себя в этой непривычной одежде неловко. Разговор за столом не клеился, хотя с Мартой, женой главного врача, которую в Авесте определили к ним старшей сестрой, мой отец уже успел подружиться.

Хозяйка подала голубцы.

– Приготовлено исключительно ради вас, – заправляя за ворот салфетку, сказал Линдхольм. – Венгерское блюдо, насколько я знаю.

Мимо окон со свистом промчался поезд.

– Одно из моих любимых, – сказал отец в наступившей опять тишине.

Он отломил себе хлеба и стал аккуратно собирать со скатерти крошки. Марта хлопнула его по руке:

– Если вы пришли сюда убираться, то я отправлю вас мыть посуду!

Отец покраснел. Какое-то время они молча дули на горячие голубцы.

Мой отец откашлялся:

– Господин главный врач потрясающе говорит по-венгерски.

– Тут я победила. Во всех остальных вопросах тон у нас задает Эрик, – с улыбкой взглянула на мужа Марта.

Они принялись за еду. Жирный капустный соус стек отцу на подбородок. Марта протянула ему салфетку. Мой отец мучительно долго вытирал лицо.

– А могу я спросить, каким образом вы познакомились?

Марта, которая даже сидя едва возвышалась над столом, потянулась между фужерами и положила ладонь на руку врача:

– Можно я расскажу?

Линдхольм кивнул.

– Дело было как раз десять лет назад. В будапешт-скую больницу Святого Роха, где я работала старшей медсестрой, приехала шведская делегация...

Проговорив это на одном дыхании, Марта вдруг замолчала. Линдхольм, не спеша прийти ей на помощь, отхлебнул вина.

– Когда я была девчонкой, меня все дразнили. Достаточно посмотреть на меня – ну вы понимаете, Миклош. Когда нужно было открыть окно, приходилось просить одноклассников. В шестнадцать лет я заявила маме, что перееду в Швецию. Найду себе мужа. И записалась на языковые курсы.

Снаружи загромыхал пассажирский поезд. Казалось, будто он едет прямо между тарелками.

– А почему в Швецию?

– Здесь, как известно, живут самые маленькие мужчины, – сострил Линдхольм.

Прошло секунд пять, прежде чем мой отец осмелился рассмеяться. Смех разрядил обстановку, и смущение испарилось, как будто кто-то выдернул из бутылки пробку.

– В тридцать пятом я уже сносно говорила по-шведски, а доктору Линдхольму как раз надоела его предыдущая жена – настоящая великанша, метр восемьдесят, я правильно говорю, Эрик?

Линдхольм серьезно кивнул.

– И что было делать? Пришлось соблазнить его. Прямо там, в Святом Рохе, рядом с операционной. Я ничего не забыла, Эрик? А теперь ваша очередь, Миклош. Вы написали девушке о своем состоянии?

Мой отец, до этого занятый в основном салфеткой, вдруг схватил прибор и набросился на еду.

– Только в общих чертах.

– Я с Эриком не согласна. Вам нужно поехать, утешить... двоюродную сестру. И самого себя.

Линдхольм вздохнул и разлил по фужерам вино.

– На прошлой неделе я получил письмо от коллеги из Эдельфорса. – Он вскочил и побежал в соседнюю комнату. Через минуту он вернулся с письмом в руке. – Я вам кое-что зачитаю, Миклош. В Эдельфорсе есть женский реабилитационный лагерь на четыреста человек. Так вот, около пятидесяти девушек пришлось перевести в другой лагерь, под строгий надзор. – Он помахал письмом. Как вы думаете почему?

Мой отец только пожал плечами. А Линдхольм и не ждал ответа.

– За легкомысленное поведение. Нет, вы только послушайте:

...Девушки принимали парней в спальнях комнатах и на полях в ближайшем лесу.

Наступило молчание. Потом маленькая Марта спросила:

– Это были венгерки?

– Этого я не знаю.

Но мой отец знал ответ.

– То были чуждые элементы! – торжествующе вынес он приговор.

Его голос был полон такого презрения, что Марта отложила вилку.

– Что вы хотите сказать, Миклош?

Мой отец оседлал своего конька. Это он обожал – порассуждать о свежем ветре социализма, который сметет старый прогнивший мир, и тому подобное.

– Безнравственность к барышням из определенной среды приросла, будто кожа к змее, зубами не отдерешь. Они вечно дымят папиросами, щеголяют в капроне и, как выразился наш поэт, лепечут, как поверхность вод, – а глубина пуста!

Линдхольма его точка зрения нисколько не заинтересовала.

– Этого я не знаю. Зато я знаю пословицу: были бы крошки, а мышки будут.

Однако отец и не думал слезать с любимого конька.

– От этой буржуйской морали можно вылечить только одним способом.

– Это как же?

– Новый мир создать! Построить с фундамента!

И с этого момента ужин свелся к зажигательным речам моего отца, к воспеванию святой троицы – Свободы, Равенства, Братства. Он даже не заметил, как подали десерт.

К шлагбауму, установленному у входа в лагерь, автомобиль Линдхольма подъехал уже за полночь. Мой отец с довольным видом выбрался из машины и простился с главным врачом, окрыленный надеждой на скорую поездку в Экшё. Войдя в барак, он зажег свечу и, присев, изложил опьяняющий его самого план всеобщего преобразования мира, с трудом уместив его на четырех страницах письма.

Буду рад, если Вы напишете, что Вы думаете об этих вещах. Тем более что Вы ведь тоже из средних слоев и, вероятно, смотрите на данный вопрос через классовые очки...

Глава четвертая

Спустя три недели Свенссон впервые разрешил Лили встать с постели. Как потерянная, бродила она по выложенным мелкой плиткой коридорам госпиталя, где горький запах лекарств смешивался с вонью свежеччищенной рыбы. Женское отделение располагалось на четвертом этаже, остальные же были заняты находившимися на излечении невеселыми шведскими солдатами.

Свенссон также добился, чтобы ближайшее воскресенье Лили смогла провести в кругу уважаемого семейства Бьёркманов. Началось все с того, что два месяца назад, когда венгерские девушки прибыли в лагерь Смоландсстена, к каждой из них прикрепили шведскую семью. Лили достались Бьёркманы. Свен Бьёркман, глава семьи, владел в городе небольшой писчебумажной лавкой и заслуженно слыл правоверным католиком.

Лили попала к ним не случайно. С того времени, как она совершила “предательство”, не прошло еще и пяти месяцев. Когда в мае, после освобождения концлагеря, она пришла в сознание в городской больнице немецкого Бергена, то решила бесповоротно порвать с еврейством. Что касается католичества, то этот выбор был сделан ею случайно, ну а подопечной супругов Бьёркманов – уже по прибытии в Швецию – она стала благодаря сострадания и практичности шведов.

В воскресенье утром Бьёркман с женой приехали в Экшё и, дождавшись Лили в приемной госпиталя, бросились к ней с объятиями, обрадованные новой встрече. А затем отвезли ее в Смоландсстена – прямо на службу.

Церковь в Смоландсстена была скромной, просторной и светлой. Бьёркманы сидели в третьем ряду, снова вдвоем с молодой венгеркой – выздоравливающей Лили Райх. Просветленные лица были обращены к украшенной богатой резьбой кафедре. Лили знала по-шведски лишь несколько слов, и воскресная проповедь разливалась в ее душе словно музыка, столь же возвышенная, как исполнявшаяся затем на органе fuga. В конце службы Лили присоединилась к очереди, и молодой, поразительно голубоглазый священник положил ей на язык облатку.

Дорогой Миклош, в следующий раз не спешите так, а подумайте хорошенько, что и кому вы пишете. Отношения между нами не настолько близки, чтобы ТАК говорить со мной об этих вещах. Да, я типичная обывательница! И если из четырех сотен женщин набралось пятьдесят таких, то в этом нет ничего удивительного!

В это же воскресенье мой отец и Гарри, с парой плюшек и минеральной водой, сидели в лагерной столовой в Авесте. Был тот редкий момент, когда впору ликовать, – в большом, как ангар, помещении они были одни, но отец пребывал в столь глубоком отчаянии, что даже не замечал этого.

– Я все испортил, – пробормотал он, глядя перед собой.

Гарри махнул рукой:

– Да брось ты! Подуется и забудет!

– Никогда. Я это чувствую.

– Тогда будешь переписываться с другой.

Мой отец недоуменно посмотрел на Гарри: да как он не может понять?!

– Другой не будет. Или она – или мне конец!

– Это все слова, – усмехнулся Гарри.

Отец, обмакнув палец в минералку, вывел на столе: ЛИЛИ. И немного спустя обреченно добавил:

– Так же все испарится.

Тут Гарри пришла в голову гениальная мысль:

– Пошли ей свои стихи!

– Поздно.

– Ох уж эта еврейская грусть! – вскочил Гарри. – Раздобуду чего-нибудь сладенького. Выпрошу или стащу ради друга. Да не кисни ты!

Гарри пересек унылое помещение и, толкнув распашные двери, проник на кухню. Но там не было ни души. Пошарив по шкафчикам, он нашел в глубине одного из них баночку меда. И в счастливом возбуждении вернулся к отцу.

– Ложки я не нашел. Можешь пальцем залезть.

Сам он именно так и сделал.

Мой отец сидел на скамье, уставившись в стол, на котором из четырех букв виднелась уже только половинка “Л”. Гарри облизывал указательный палец.

– Ну вот что. Есть у тебя бумага и карандаш? Доставай, а я буду диктовать.

Мой отец наконец поднял взгляд:

– Что ты будешь мне диктовать?

– Письмо. Ей. Ты готов?

Изумленный отец достал из кармана бумагу и карандаш.

Лицо Гарри светилось таким бесшабашным весельем, что в панцире отцова отчаяния образовалась трещина. Обмакнув палец в мед, Гарри лизнул его и принялся диктовать:

– Милая Лили! Я должен сказать тебе, что я презираю и поднимаю на смех глупых женщин, которые стесняются говорить о таких вещах.

Мой отец швырнул карандаш на стол:

– Что за бред! Да еще на “ты”?! И это я должен послать ей?!

– Вы уже месяц как переписываетесь. Пора перей-ти на “ты”. Я человек посторонний, поэтому мне виднее.

* * *

В следующее воскресенье, когда Свен Бьёркман уже прочел молитву перед едой, когда двое их малышей несколько поутихли, а фру Бьёркман с обычной своей аккуратностью разлила по тарелкам суп, владелец писчебумажного магазина, не глядя на Лили, спросил:

– Куда вы спрятали крестик, Лили?

Бьёркман, возможно, плохо владел немецким, а может, хотел в очередной раз проверить, как продвинулась Лили в изучении шведского. Поэтому, когда девушка, недоумевая, повернулась к нему, он повторил вопрос, и опять по-шведски. А чтобы помочь ей, показал на висевшее у него на груди распятие.

Лили покраснела, достала из кармана серебряный крестик и надела его на шею.

– Зачем же его снимать? – мягко посмотрел на девушку Бьёркман. – Мы подарили его тебе, чтобы ты носила. Постоянно.

По интонации Лили поняла, что это упрек. И больше за время обеда не прозвучало ни слова.

Независимо от последнего, очень странного по тону и смыслу письма, Вы очень хороший парень, поэтому я не оставлю без ответа и это Ваше письмо. Но я не уверена, что такая “типичная обывательница”, как я, может быть Вам хорошим другом.

Ну а переходить на “ты”, мне кажется, еще слишком рано.

В Авесте у моего отца был свой личный термометр. И каждый день на рассвете, просыпаясь, как по будильнику, в половине пятого, он нащупывал его в ящике прикроватной тумбочки и, не открывая глаз, засовывал в рот. Всякий раз он медленно и размеренно считал про себя до ста тридцати.

Ртутный столбик вот уже много месяцев доходил до одной и той же отметки. Отец на секунду приоткрывал глаза – пристально вглядываться в тонкие черточки на шкале особой необходимости не было. Он клал термометр на место и, повернувшись на другой бок, снова засыпал. Тридцать восемь и две, все время одно и то же, ни больше ни меньше. Лихорадка, словно бесшумный вор, появлялась, краля надежду и исчезала в рассветной дымке. А в восемь часов, когда мой отец вставал, температура снова была нормальной.

Дорогая Лили! Какой же я остопоп! Ну какое имеет к Вам отношение вся эта ерунда, которую я нагородил! Горячо жму Вам руку, Миклош.

Постскриптум: Даже не знаю, могу ли я это послать Вам?

Письмо обычно путешествовало в почтовых вагонах шведских железных дорог двое суток. Когда было получено это последнее, с объяснениями отца, Лили и Шара забрались с ногами в постель, и Лили прочитала его подруге.

– “Постскриптум: Даже не знаю, могу ли я это послать Вам?”

Шара задумалась:

– Да прости ты его.

– Уже простила. – Перекатившись на край кровати, Лили протянула руку и вытащила из тумбочки конверт. – Я нарочно не стала заклеивать. – Она поискала абзац, который хотела показать Шаре. – Вот, пожалуйста:

Да, мой друг, ты действительно “остопоп”! Но если будешь вести себя хорошо, мы сможем перейти на “ты”! Если и в следующем письме мое обращение к тебе не изменится, сие будет означать, что мы остались друзьями.

Она торжествующе посмотрела на Шару.

Та улыбнулась, но все же заметила:

– Ох эти мужчины!

* * *

В караульном помещении лагеря стояло четыре велосипеда, на которых желающие могли добраться от леса до города. Теперь, когда в Авесте резко повернуло на холод и снежные шапки на елях не таяли даже днем, под лучами солнца, отцу и Гарри пришлось закутаться с головой, чтобы за пятнадцать минут, пока они ехали, не отморозить уши.

Дождаясь очереди на главном почтамте города, они долго отогревали окоченевшие пальцы, зажав руки между коленями. Отец был смертельно бледен. С их места были видны три застекленные кабины, которые в этот момент были заняты. Мой отец сидел будто на иголках.

Наконец одна из кабинок освободилась. Служащая за стойкой сняла телефонную трубку и, глядя на моего отца, что-то проговорила, после чего махнула ему рукой. Мой отец вскочил и, покачиваясь, как пьяный, двинулся к пустой кабине.

В этот момент на другом конце Швеции Юдит Гольд, едва не сбивая с ног нянечек и врачей, сломя голову понеслась по лестнице. Лили и Шара сидели с книгой на подоконнике.

– Лили! Лили! – ворвалась Юдит Гольд в палату. – Тебя к телефону!

Та обернулась, но не сразу ее поняла.

– Да беги же! Тебе звонит Миклош!

Лили вспыхнула и спрыгнула с подоконника. Во весь дух она бросилась вниз – в цокольный этаж, где для пациентов был оборудован переговорный пункт. Медсестра, как раз выходявшая в это время из помещения, уставилась на нее с изумлением. На столе рядом с аппаратом лежала телефонная трубка. Лили резко остановилась, помедлила, потом потянулась за трубкой и осторожно поднесла ее к уху.

– Я слушаю...

Мой отец там, на почте, откашлялся. И, как ни старался, начал на октаву выше, чем он хотел:

– Именно так я и представлял ваш голос. Просто мистика!

– Я запыхалась. Бежала. Тут всего один телефон, в главном корпусе, и мы...

– Вы отдышитесь, – зататорил отец. – А я буду говорить, хорошо? Я вам звоню, чтобы сказать: представляете, со вчерашнего дня через Лондон или Прагу можно посылать домой письма авиапочтой! Можно писать на венгерском! И даже телеграфировать! Вы сможете наконец-то найти свою маму! Я был счастлив, я сразу решил: сейчас же вам позвоню, поделюсь!

– О боже.

– Я что-то не так сказал?!

Лили стиснула трубку так, что рука ее побелела.

– Мамочка... Я не знаю... не знаю их адреса. Из старой квартиры нам пришлось переехать в дом со звездой... я не знаю, где она может жить теперь. Боже мой.

Мой отец наконец обрел бархатистый тембр голоса.

– Ну да! Какой же я идиот! Но мы можем дать объявление! Подадим для нее объявление в газете “Вилагошшаг”! Ее сейчас все читают! Я тут скопил денег, так что организуем!

Лили изумилась. Несмотря на весь драматизм момента, в голове у нее мелькнуло: получая пять крон в неделю, на это не накопишь.

– Откуда у тебя столько денег?

– Я об этом тебе не писал. То есть вам, дорогая Лили. Простите.

У Лили перехватило дыхание и, возможно, даже подскочила температура.

– Давай перейдем на “ты”, – пробормотала она.

Почтовое отделение Авесты в этот момент показалось отцу дворцом. Он восторженно вскинул кулак, показывая сидевшему в двух шагах от кабины Гарри, насколько он счастлив.

– Так вот, представляешь, у меня есть дядюшка, который живет на Кубе... Но я тебе напишу потом, это долго рассказывать.

Слова иссякли, и они замолчали.

Оба крепко сжимали трубки, притиснув их к уху.

Лили нарушила молчание первой:

– Как ты? Я имею в виду – физически.

– Я? Отлично. Все анализы отрицательные. В левом легком есть небольшое пятнышко. И немного жидкости. Остаточные явления плеврита. Но это не очень серьезно. Я сейчас нахожусь в середине лечения. А как ты?

– Тоже все хорошо. Ничего не болит. Велено принимать железо.

– А температура?

– Повышенная. Это нефрит. Ничего особенного. Говорят, вязкость крови понижена.

– Какой у тебя показатель СОЭ?

– Тридцать пять.

– Это ужасно!

– Ничего ужасного! Appetit у меня отличный. Я те-бя очень жду... мы вас ждем!

– Да, да, я как раз этим занимаюсь! Готовимся! А по-ка... Я тут написал тебе стих.

– Мне?! – Лили покраснела.

Мой отец набрал в легкие воздуха и закрыл глаза.

– Прочитать?!

– Ты его наизусть знаешь?

– А то как же.

Времени на раздумья не было. По правде сказать, мой отец посвятил Лили уже целых шесть стихотворений. И нужно было выбрать одно, что повергло его в отчаяние. Как бы не ошибиться!

– Называется “К Лили”! Ты слушаешь?

– Да, я слушаю.

Мой отец, не открывая глаз, прислонился к стенке кабины.

Я наступил на замерзшую лужу –
треснула корка на ней.
Сердце мое осторожнее трогай:
стоит нажать сильнее,
хрустнет и разобьется защита –
наледь, которой оно покрыто.

– Ты еще здесь?

У Лили от волнения застучало в висках.

Он не слышал ее – только чувствовал, что она на другом конце провода.

– Да, здесь.

Отец тоже был сам не свой. Он охрип. В трубке что-то шуршало, слова шелестели в ней, как морской прибой.

– Ну, тогда я продолжу:

Тронь же его невесомым касаньем,
радостным мотыльком
там, где прячется и не тает
боль моя – льдистый ком.
Нежно погладь ее легкой рукою –
вытечет, выпадет светлой росой...²

² Перевод Марины Бородинской.

Глава пятая

Помещение, предоставленное госпиталем в распоряжение “Лотты” – женской добровольческой организации Швеции, было убогой каморкой без окон, где едва помещался письменный стол. Напротив стола посетителей ожидал венский стул.

Сотрудница “Лотты” фру Анна-Мария Арвидссон чуть ли не после каждой записанной фразы старательно очиняла свой карандаш. Изъяснялась она по-немецки, отчетливо выговаривая слова, чтобы Лили понимала все тонкости. Она уже все объяснила этой очаровательной молодой венгерке. Посвятила ее даже в некоторые детали, которые ее не касались. Например, в то, что Швеция, приняв на своей территории так много больных людей, пошла на немалый риск. И хотя в основном все затраты взял на себя Международный Красный Крест, возникают и непредвиденные расходы. И при этом она еще не сказала о существующих до сих пор трудностях с размещением! Нет, нет, как бы ей ни хотелось помочь, она не может поддерживать такого рода частные инициативы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.